

Николай Матвеев



Людей больше нет

Николай Матвеев
Людей больше нет

«Издательские решения»

Матвеев Н.

Людей больше нет / Н. Матвеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-852382-3

В этой книге собраны рассказы, мысли и истории о людях, о тех, кто рядом с нами, о тех, кто потерялся или потерял, о тех, кто вокруг нас, о тех, кто в нас, рассказы о любви и вере, рассказы о потере и любви, о том, что делает людей людьми, о том, что убивает в человеке человека! Эта книга об одиночестве и эгоизме, о безысходности и силе. Здесь много музыки, музыкой пропитан каждый рассказ, где-то явно, где-то нет, но музыка здесь в каждой строчке. Я люблю музыку, жаль, что она умирает.

ISBN 978-5-44-852382-3

© Матвеев Н.

© Издательские решения

Содержание

Не я.	6
Погасшие лампы	8
В высоких надеждах	10
Грибы	13
Вода	16
Лилии	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Людей больше нет

Николай Матвеев

© Николай Матвеев, 2019

ISBN 978-5-4485-2382-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Не я.

Кротом в норе, ломая копыя, стрелы, погремушки, стреляя в небо чёрными чернилами, пытаюсь не вернуться в пустоту, при этом, шаг за шагом увязая в ней всё глубже, я в окна чёрные смотрю, как дождь стучит по стёклам, словно в барабаны, и где-то гром играет партию басовой, в сущности, гитары, а мои нервы – соло на разбитом Fender Telecaster. Надрывные аккорды, вышибающие слёзы, разрезанная сущность на куски, растерзанная мысль и бьющееся в клетке сердце – разрушенная, в сущности, реальность. Я закрываю красные глаза, стираю слёзы грязные, как лужи, пальцами, в которых теплится надежда, такая же, как в голове, пробитой, не моей мне кажется, чужой. Всё тело словно кубики из детства – разбросаны по комнате и собраны в какую-то нелепую, смешную башню, раскрашены фломастером, царапаны ногтями, всё не моё, чужое, постороннее. Гремит очередная партия басов, я слышу как стучится дробью дождь и нервно дёргает по струнам успокоенная безысходностью душа, как мячик прыгает в груди, как стая Марабу идёт на север, круша надежды на выздоровленье, ломая лёд моих надежд, срывая пелену остывших упований, сжигая на груди крестом чужую кожу, которая уже не будет никогда моей.

Я вспоминаю странную субботу, твои слова и новую луну, остывшие, сухие звёзды, я помню полыню, кровавый след твоих подошв, растерзанное сердце и пустую чашку. Набор каких-то вырванных набросков, никак не связанных с возможностью жить дальше, всегда оставленных тобою многоточий, всегда оставленных вопросов, запятых и многоточий, но уже моих. Не знаю нот, но кажется, что это нота Ля, ломая междометия и мат, разлилась в теле, пробегая по чужим конечностям и органам, тягучим стоном выхода ища наружу, застряла где-то возле кадыка, затихла, притаилась, уступила место барабанам.

Косыми взглядами и тонущей подводной лодкой мне встретился последний день моей свободы, кривыми, обходящими словами, не сказано, не выдано, а вынесено, словно приговор, такой же, как маньяку или сумасшедшему с винтовкой, такой же, как осенний листопад. Вгрызаясь в лацкан пиджака, отец глядел в мои глаза, как на разбитую витрину и что-то тихо бормотал, пытаюсь выдать за реальность, то, что все желали. И только камень придавил мне душу, и только постучался холодок в окно, ещё не всё так плохо, ещё есть время что-то изменить, и ты пришла, и ты погладила меня по два-три дня не выбритой щеке, ещё пока моей, ещё такой знакомой, помнящей тепло твоих настырных пальцев. И это разрывало мир, как разрывает голову сейчас пугающая нота До, как лопнувшие в детском садике подтяжки.

От оптимизма на исходе чёрные следы, они горят напалмом, не дают свободы, разорванные дни и крашенные ночи – вот спутники дороги в неизбежность, ни яды, ни таблетки, ни ожившие герои, никто не развернёт колёса мчащейся с горы телеги, скрипящей, разрывающей виски, ломающейся, полной безнадёги. И в этом Соль, и нота, и вообще всей жизни, мне кажется, что порвалась оплётка, остались только оголённые, как попка малыша-младенца, нервы, ни тронуть, ни вздохнуть, ни выбросить в окно, которое как барабан всё гонит на войну, всё подгоняет раздобыть и вырвать эфемерную победу. Победы нет, есть, в сущности, иллюзия успокоенья.

Концерт окончен, музыка стихает, всё реже ритм ударных, всё тише бас, уходит, пропадает вдаль, листает на попитре ноты ночь, ещё не вырвалась луна, но скоро, думаю, появится, пробьется, разбавит одиночество стеклянных отражений, затмит сиянием отображенье лысой головы, без шевелюры, без бровей, без будущего и, в сущности, уже без прошлого, чужого прошлого, не своего. И своего. Без прошлого, оно уже не важно.

Когтями по душе, срывая существо на крик, стирая грани между «раньше» и «теперь», руками бью в стекло, пытаюсь память не смотреть заставить, в немое отраженье, пытаюсь позабыть всё то, что только будет... я понимаю, что рука слаба настолько, что может только лишь

стекло погладить, не разбить. И мне приходится смотреть, как плятятся мне в душу, чужие, в сущности, глаза, как нервно теребят, перебирают пальцами, чужие руки, как искривился рот, как крошатся чужие зубы, как льётся в жилах, чужая, перелитая вчера мне кровь. Во мне чужое всё, и если я умру, а я умру, и очень скоро, то я умру не я, умрёт во мне кто-то чужой, тот, чья во мне перетекает кровь от члена к члену, к органу от органа, от сердца в мозг. Во мне осталось моего – всего душа, а души, как мне обещали, никогда не умирают. Вновь жжёт крестом мне кожу на груди, я вспоминаю, что мне обещали очень много, я вспоминаю, из обещанного действуют одни уколы, и те – пока.

Гроза ушла, затихли барабаны, надрывно плачет в перелитой крови нервов тонкая струна, крадётся по ночному небу бледная луна, пропало отражение, чужое, в сущности – моё. За белой дверью, где-то за моей спиной, за выставленной на показ душой, я слышу быстрые шаги сестры, несущей мне в шприце успокоенье, я наслаждаюсь видом из окна, я – в сущности, уже давно умерший.

30 мая 2010г.

Погасшие лампы

Солнце стремительно мчалось к горизонту, небеса становились лиловыми, чтобы после сменить свой окрас на фиолетовый, который, плавно перельётся в черноту. А после вылупятся звёзды и станут нагло смотреть на неё. Ей становится страшно, она всё ещё провожает за край земли солнце, она всё ещё думает, будто что-то изменится, кто-то на помощь придёт, кто-то спасёт, кто-то даст новый шанс. Она уже не в силах смотреть на закат, она закрыла окно и задёрнула шторы, она включила свет, ей светят теперь десять ламп, и каждая в сотню ватт. Она щурится, но не закрывает глаза целиком, она знает, что скоро *они* к ней придут, она слышит их шорох, она узнаёт, как царапают когти их, пол. Глаза привыкают к колючему свету, и тут появляется первый урод. Он чёрен, ростом всего сантиметров сорок, его ноги жилисты, как у эфиопского бегуна, его руки, длиннющие, словно вёсла, его голова как арбуз, составляет примерно треть тела, у него очень мелкие уши и красные, как помидоры глаза, они занимают почти треть лица, из прорези рта торчат два жёлтых клыка. И следом за ним появляется монстр, похожий на пса, но только с хвостом как у ящера и глазами варана, и шерсти нет у него, он лыс и чёрен, как предыдущий. А дальше они вылезают из разных углов, занимая весь периметр комнаты, пять на три метра, их множество, все с разъярёнными мордами, злые, у некоторых истекает из плоток слюна, у некоторых что-то жёлтое, у всех имеются шрамы.

Она сидит посреди своей комнаты, в комнате пусто, и только кровать посередине, да толпы чудовищ заполнили весь периметр комнаты, только она с ними здесь один на один. Ей страшно, она знает всё наперёд, она знает, что дальше будет, что кто-то умрёт, она это знает, как знает и то, что если здесь кто-то умрёт, а здесь *точно*, кто-то умрёт, то завтра его место пусто не будет, его место кто-то завтра займёт. Она смотрит на то, как смотрят чудовища друг на друга, как редкие взгляды бросают в глаза ей, как изредка смотрят ей в ноги, как липкими взглядами гладят ей грудь. Она понимает, что снова заплачет, она так привыкла плакать, плакать от страха и неприязни, она хочет, чтоб не было этого, она хочет, чтоб вместо уродов и монстров, здесь были бы ангелы и херувимы. Она прячет слёзы, она превращает их в пыль и молчанье.

Чудовища смотрят друг другу в глаза, они наполняются гневом, вот слышится первый угрожающий рык, вот слышен ответ, и то, как царапает кто-то когтями, израненный пола паркет. А в это время лампы всё светят, лампы всё греют пространство, и жар от дыхания чудовищ, и напряжение гнева, всё смешано в злую картину. Она не художник, она лишь модель. И ей не сбежать, не уйти и не вырваться прочь, из этой преисподней. Она обречена смотреть на это раз за разом, смотреть на это от заката до рассвета, за ночью ночь, за ночью ночь. Один из монстров сделал первый шаг, под гул и рыки тех, что рядом, кто напротив или по бокам, он сделал шаг, оскалил зубы, и снова отступил.

Она не верила своим глазам, она не верила им раньше, не может им поверить и теперь. Мигнула лампочка, плохой предвестник. Она смотрела в потолок, смотрела, как горят спасительные лампы, она просила их гореть, она просила их гореть и не покидать её. Но это только лампы, они не могут менять *этот* мир, они могут только гореть или перегореть. Для того чтоб гореть, им нужен выключатель или хотя бы провода. Но этот выключатель неподвластен лампам, он неподвластен ей, кому же выключатель тот подвластен? Наверное, тому, кто проложил здесь провода. Ещё ей кажется, что монстры как-то могут управлять всем светом, по крайней мере, тем, что светит здесь, по крайней мере, для неё. Она смотрела, как *их* нервы обнажались, она смотрела, как из глаз летели искры, угрожая распалить пожар, она смотрела, как клыки терзали воздух, а когти стены и паркет.

Моргнули лампы, как второй звонок в театре, и от её не ускользнуло глаз, как положение сменилось оккупантов, ей кажется, что каждый из них уже продвинулся на добрый дециметр

к середине, ей кажется, что сердце сжалось в маленький комочек, ей кажется, что это будет с ней в последний раз. Ей кажется, она всё это не переживёт. А чудища всё громче рычат и бьют по полу лапами и клацают зубами. В их яростных глазах есть ненависть и злоба, а что же есть у них в сердцах? Ей кажется, что все они лишь узники, и то, что происходит здесь, не больше чем театр сумасшедших кукол, быть может, заводных, быть может, у которых есть программа. Она, почти что кожей чувствует, что это вот сейчас произойдёт...

И в этот миг, вдруг гаснут лампы, все. И меркнет всё вокруг, весь мир теперь становится кошмарной тьмой. И в тот же миг, срываются и прыгают чудовища и монстры. Во тьме слышны и лай, и крики, раздался визг и звуки сломанных костей, и булькающий звук распоротого горла, и чмокание, теперь пустых глазниц. Она закрыла голову руками, она зажмурила глаза и закричала громко-громко. А мимо пронеслись монстры, они не трогали её, но иногда она, вдруг чувствовала, как её касается холодный хвост, мерзкий. Или вдруг слышала тяжёлое, горячее дыхание за спиной, или как капает слюна, а может, кровь, ей на колени. Вот и сейчас, она кричала в темноту, а по волосам её погладил кто-то. А всё что думала она: «А скоро ли рассвет». Она кричала и думала, скоро ли рассвет. И мокрый нос её ступней коснулся, она одёрнула ногу и сжалась в комочек. Она закричала сильнее.

Раньше *они* никогда её не трогали так часто, и так преднамеренно. Ей стало намного страшнее, чем в самый страшный раз, теперь они могли и на неё напасть, и превратить её в одну из своих, сидящих по комнатам, ждущих, когда же погаснет весь свет, чтоб броситься в битву, чтоб рвать, чтоб кромсать, чтобы шрамы, как звёзды на правом борту, как крестик на память, как в паспорте штамп. Она вскочила с колен, её ноги были холодны, как на морозе медь, она по морде стукнула неведомого зверя, который ей вцепился в край ночной рубашки, она с кровати прыгнула на пол, она отмахивалась от чудовищ, она сорвала шторы и рывком раскрыла раму. И ей лица коснулся свежий ветер, и ей в глаза смотрела добрая луна. А звёзды с отвращением рассматривали монстров. Она забралась на подоконник, и прежде чем прыгнуть во тьму, в другую тьму, добрее и теплее, она подумала: А скоро ли рассвет? А после, пяточки скользнули по отливу.

Она проснулась, тяжело дыша. Часы в ночи показывали без пяти четыре. Она смотрела в потолок, и ей хотелось плакать. Она дала себе новый шанс, она сделала это сама, но никто не приходит на помощь, никто не спасает, и не изменилось ни что, разве только поменьше уродов и монстров, они просто теряются в периметре комнат. Она подумала: А скоро ли рассвет?

10 ноября 2008 г.

В высоких надеждах

В высоких надеждах проносится время, нет больше того, что раньше спасало, нет больше того, что теперь успокоит, и нет больше того, что когда-то заставляло бороться и жить. Есть лишь за спиной прожитые годы, косые тени домов и солнца закат, да парадная дверь. Нет ничего впереди, кроме мутного времени, да скорой лунной ночи. Нет настоящего, есть только шаркающие шаги, да взгляд близоруких глаз на то, что тревожит и заставляет ещё весь мир существовать. Вздыхается под ногами пыль, то ли от шагов, то ли от суеты молоденькой таксы, которая скачет и в воздухе извивается червяком, пытаюсь достать до кожаного ремня, что остался ещё с тех времён, когда он был не так стар, когда он был не одинок, и когда он ещё не был тем, кем он теперь стал.

Шаги печатаются в тропы, на теле планеты остаются следы. Он любит гулять по парку, по его неровным аллеям, где вечерами, в основном, выгуливают собак. Он любит ходить здесь и слушать, как каркают птицы, смотреть, как резвятся дети и глубоко втягивать воздух ноздрями, вдыхая запахи жизни. И он улыбался собакам, если взгляды их пересекались, и если не пересекались, он тоже улыбался собакам. А те смотрели на него с какою-то незримою тоской. Когда он шёл по аллеям, ему всегда попадались навстречу собаки на поводках, держали которые, как правило, уже не молодые люди и смотрели все как один куда-то сквозь толщу пространства, не видя мимо прохожих. И он смотрел на умниц-овчарок, которые мимо него проходя, как бы случайно, тыкались носом в коленку, а потом ещё долго смотрели в спину ему, оборачиваясь и нервирова этим хозяев. А он шёл дальше и благодарил их.

Он любил сидеть в парке на скамеечке, там есть одна скамеечка, которая редко когда бывает занята, зато там проходит много собаководов, и почти каждый пёс подбежит к нему и посмотрит в глаза, или тронет его мокрым носом, или осторожно помашет хвостом, лукаво глядя в глаза. И он отвечал им усталой улыбкой, он гладил их шерстяные спины и чесал переносицы. А потом они убегали, их всё же ждали и звали хозяева, у них была своя жизнь, у каждой собаки, у каждого пса. И сегодня он сел на неё, он смотрит на краснеющее небо и думает о том, как может быть там. Он чувствует, что рядом есть кто-то, кто тоже смотрит на небо, и, может быть, думает о том же самом. Он видит, что рядом сидит дворняга, с примесью овчарочьей крови, но с висячими ушами, и смотрит куда-то вперёд. Собака ощущает его взгляд и поворачивает голову к нему, и смотрит так, как будто знает всё, и про него, и про неё, и про всю оставшуюся жизнь. Вот так они сидят, он и дворняга. Вот так они и смотрят в алеющее небо, будто там раскрыта тайна, будто там на все вопросы дан один ответ. Потом пёс встал, потянулся и, задев его хвостом, обернувшись на прощание, высунув язык, скрылся в глубине парка. А он остался один, смотреть на тускнеющее небо и читать вновь и вновь свои мысли.

Он всегда возвращался одною и той же дорогой домой. Там где-то была могилка его верного друга, друг его был Большой швейцарский Зенненхунд. Глаза увлажнились каждый раз, когда он проходил мимо одному ему приметного холмика. Он никогда не подходил к нему ближе, он еле слышно гавкал, подражая первому гав его старого, доброго, семь лет уже мёртвого друга. Тогда он сидел у него на руках и любопытным взглядом рассматривал его глаза, после чего гавкнул и принялся исступлённо лизать щетинистый подбородок и впалые щёки. Чёрт подери, такие мелочи порой врезаются в измученную память и становятся в один ряд с теми ужасными днями, когда в окно влетает холодный тёмный ветер и телефонный звонок разбивает тишину, мгновенно перемалывая жизнь. Ещё не зная всей правды, ещё не зная, что что-то произошло, боишься снять трубку и услышать то, чего слышать не хочешь, то, чего слышать нельзя. И ноги становятся ватными, и руки не слушают мозг, упорно снимая с аппарата трубку. И невнятный голос говорит и говорит, уже разрушен мир, уже распалось на молекулы сознание, уже стекает по щеке и капает на пол слеза, а голос продолжает говорить и говорить...

Так было и с ним. Тогда только слёзы, луна и Большой швейцарский Зенненхунд держали его здесь, просили остаться, просили им поверить, переживали вместе с ним. В тот вечер плакать спряталась луна за ширму чёрных туч, тогда лил слёзы добрый пёс, тогда он плакал в шею этому шерстяному созданию, а друг его тихо скулил.

Волна накатила, обрушилась и отступила. Сухие сморщенные пальцы вытерли две ленивых слезы. Он проводил взглядом надменного пуделя, он фыркнул вслед этой никчёмной псине, а тот не обернулся даже, с изяществом Нарцисса гарцуя по тропе, бежал к хозяйке – девочке, лет тринадцати.

Вот уже совсем почти стемнело небо, вот уже почти зажглись и звёзды, вот уже и лавочка, что стоит у парадной. Он сел на неё, перед штурмом лестницы, перед подъёмом на пятый этаж, без лифта, без энтузиазма, без будущего. Он вновь смотрел на то, как зажигают звёзды, он пальцы сплёл, он знал, что здесь появится Манчестерский терьер кого-то из его соседей. Собака, корни которой в городе с плачущим небом, почти как здесь, почти как в Петербурге. Раздался шорох листьев, из кустов выскочил жизнерадостный пёс и бойко подбежал к нему. Пёс громко гавкнул, встал передними лапами на скамью рядом с ним и, как всегда стал нюхать на расстоянии его лицо, потом забрался на скамью целиком и, пробурчав что-то на собачьем языке, сел рядом, тяжело вздохнул и стал вертеть головой по сторонам, напрягаясь, каждый раз, когда замечал мимо бредущего кота или птицу. Пёс так же внимательно следил за каждым движением редкого прохожего, готовый напасть на того, при малейшем намёке на агрессию. Раз в три минуты манчестерец лаял, коротко и громко. Потом открылась дверь, и мальчик с третьего этажа позвал собаку домой. Пёс внимательно рассмотрел мальчика, убедился, что это за ним, прыгнул со скамьи и исчез в полумраке подъезда. А он остался сидеть и смотреть в темноту, не долго, ещё только пару минут. Он не любит темноту, именно с неё всё и началось, всегда, как ни крути, всё начинается с темноты. Они все уходили от него в темноте, по очереди, по страшной очереди, в страшной темноте. Сначала ушла она, случайно, потерявшись в небе, наверное, она сразу стала ангелом. Потом ушёл его мальчик, вскоре после неё, через несколько месяцев, тоже случайно, он потерялся в воде. Его, правда, нашли, только уже непонятно, зачем. Он остался вдвоём со своим старым другом, единственным другом, оставшимся за всю излишне человеческую жизнь. Большой швейцарский Зенненхунд плакал тогда вместе с ним, ему было стыдно, что и он тоже покинет его, ему было горько оставлять его одного, но оба они знали, что рано или поздно, но Большой швейцарский Зенненхунд покинет своего друга. Своего, теперь, единственного друга.

Он очнулся только когда преодолел последние ступени, в тусклом свете лампы он открыл входную дверь и очутился дома. Он не включал свет, он снял сандалии и подошёл к окну, которое выходило на юг, он отодвинул занавески и открыл окно. Свежий уже ночной воздух ворвался в квартиру, он глубоко вздохнул и стал задумчиво смотреть на чистый мягкий коврик справа от окна. Он вновь вздохнул и побрёл на кухню, всё это в мраке ночи, лунной и такой печальной ночи. Он достал из шкафчика миску и пакет сухого корма, насыпал и убрал пакет обратно, затем достал вторую миску и налил в неё воды. Он отнёс это всё в комнату, под окно, как делал тогда, когда его друг заболел и не мог уже сам выбегать на улицу, не мог делать больше десятка шагов. Большой швейцарский Зенненхунд старательно кушал кашу с привкусом мяса и получал немного сухого корма. Он старательно кушал горошины корма, стараясь не проронить ни крошки, потом смотрел другу в глаза и лакал холодную воду. А он смотрел на собаку и слёзы стекали по его глазам, он сидел на полу и рассказывал ему, как там, на улице, что нового, каких собак он видел, и украдкой вытирал солёные слёзы. А Большой швейцарский Зенненхунд слушал его и вздыхал, а если вдруг он прерывал свой рассказ, пёс собирал все силы и смотрел, что случилось, почему друг не продолжает рассказ. Потом он долго гладил пса, пока тот смотрел сквозь открытое окно на луну, или белые облака, когда не было видно луны, и не хотел думать о завтрашнем дне. А потом он всё так же сидя на полу, смотрел на спя-

щего друга и подбородок его дрожал, когда он видел, что собаке снятся весёлые сны, наверное, из щенячьего детства, или то, как они все вместе играли в футбол, или прыгали через ручей, или играли в снежки. . .

А однажды утром Большой швейцарский Зенненхунд просто не проснулся.

Он принёс две миски и поставил рядом с ковриком, он сел рядом и стал смотреть на луну. Он смотрел на луну и видел в ней всё, чего раньше не видел. Луна стеснялась его взгляда, но понимала, что нужна ему, или это понимал он, одушевляя луну, одушевляя ту, что не покинет его раньше, чем он покинет её. Он завыл, он завыл как настоящий пёс.

Он стал медленно кушать корм и запивал его холодной водой. Он лёг на коврик и стал принюхиваться к воздуху с улицы, он прислушивался к голосам за окном, он смотрел на луну, а веки его наливались тяжестью, кружа вихри воспоминаний, сплетая быль, небылицы и явь в причудливую карусель одиночества. Через несколько минут он заснул. Он тихо поскуливал, когда ему снились сны, сны из счастливого времени, сны из счастливого щенячьего детства. . .

Грибы

Лес. Кругом деревья лиственные, трава местами, и грибы. Мы топчем аккуратно сапогами землю, тихонько палочками вороша опавшую листву, уныло и сосредоточенно мы раздвигаем травы. Мы ищем, где же спрятались грибы, мы иногда вкушаем ягоды, чуть красные ещё, но всё же, такие маняще красивые, они так и просятся в рот, мы кушаем неспелую бруснику. Над кронами деревьев, там, в нескончаемой дали, за голубую оболочку неба, там светит ярко солнце, сжигая зелень в желтизну листков, уже помалу, приступает к их уничтожению. Я иногда смотрю на солнце. Оно мне нравится, своей незавершённой красотой, и в то же время – солнце есть конечность красоты, нам ничего нельзя добавить, ни убрать. Всё в солнце есть, и жар, и холод, и надежда, нет только одного – на нём нет жизни, оно, так же как и я, даёт тепло для жизни всех вокруг, чтоб быть навечно одному, и жизнь закончить в альтруистском одиночестве светила. Ведь рядом с солнцем можно запросто сгореть, остаться пеплом, развеяться в космическую пыль, и потеряться во вселенной, в её тьме. Такая вот история у солнца, что светит нам на головы, сквозь листья, сжигая мне сетчатку понемногу, а я смог оторваться от его мерцающего лика только лишь тогда, когда меня окрикнула она, смеющаяся, нежная луна.

Мы сели на полянке, на холма вершинке, мы пили квас и ели бутерброды с сыром, она смотрела на деревья, она всё видела в их кроне то мышек, то зайчишек, то тюленей, а я смотрел на её нежное лицо, она была бледна и постоянно будто бы грустна, она была моею маленькой луной. И одинокими ночами, когда я оставался с холодом на ты, когда в моём жилище не было огня и хлеба, когда уже тускнела и играла пламенем последняя свеча, я сквозь стекло окна смотрел на лик моей малышки, так заботливо смотрящей на меня с небесной выси, усеянную множеством мельчайших звёзд, которым никогда и не приблизиться ко мне так близко, как это получилось у неё. Она смотрела на деревья, а после улыбнулась мне и протянула горстку ягод на ладошке, она всегда мне что-нибудь из леса приносила. То были иногда цветы, бывали ягоды, бывали раненые птички, однажды принесла мне зайца, мёртвого, как мёртвая вода. Я скушал ягоды, она залиvisto смеялась, и я смеялся вместе с ней, а после мы смотрели нам в корзины, считали, сколько мы собрали на двоих грибов, в моей корзине было три, в её четыре. Она всегда была глазастее меня, и взгляд её был более цепким, чем мой, она всё видела и знала, ну, может быть, почти что всё. И так, наверное, будет всегда.

Мы снова продолжили поиски низших споровых растений лишённых хлорофилла. Я веточкою отгibal траву и поднимал опавшую и прошлогоднюю листву, мне всё мерещилось, что вижу я под ними лисичку или мухомор, но, поднимая жёлтый лист, сворачивая вправо зелень травки или мха, или подняв очередную ветку, я видел там, что нет гриба, что мне почудилось, быть может, это всё галлюцинации, я болен?

Она меня окликнула, не дав упасть в пучину тягостных раздумий, и в этот миг я встретил моховик. Я взял свой верный нож и срезал гриб, поцеловал, отправил в корзину и расправил мох. Я утопал во мху на четверть сапога, она меня опять окрикнула, я обернулся и увидел как лицо её, прекрасное лицо, было искажено гримасой страха, она мне яростно махала своими, почти что детскими ручками, и тяжело дыша, звала назад, она сказала, что я могу попасть в болото, тогда я, может быть, умру. И я вернулся к ней, обнял, поцеловал макушку, да, прямо через платок, мало ли этого клещи и ждут. Она дрожала как осиновый листок и цеплялась за меня, как за последнюю надежду, а мне так было стыдно, что из глаз сочились слёзы. Я не заметил, что тогда немного потемнело небо, точнее, заметил, но подумал – это слёзы. Мы так стояли несколько минут, пока она не успокоилась и вдруг, как это с ней всегда бывало, смотрела на меня, так улыбаясь широко, как будто то, её что раньше напугало, минуло тысячу, не меньше, лет назад. Она взяла в ладошку мою руку и потянула от болота прочь, туда, где твёрдая земля, где безопасно можно сапогами наступать на травы. Я шёл за ней, влекомый

моей маленькой луной, сжимая левою рукой корзину, в которой было уже на одного пленного больше, а за голенищем ощущался нож, мне казалось, что он стал греться и жечь мне ногу. А она вела меня обратно, на полянку, она шептала мне, что это волшебное место, от него исходит сила и мы не должны упускать такую возможность стать единым полем мысли и ниточками одной верёвки. А нож всё становился горячее, и я не понимал, что происходит. А мы тем временем, уже стояли посреди поляны. И я осмотрелся вокруг, на стену берёз и прочих деревьев, ещё я подумал, как быстро меняется лес, недавно был только в болоте, среди мхов и елей, и вот уже стою на холме, в окружении берёз и что ли... осин.

Она шептала мне слова и пальчиками гладила мне пуговицы на пальто, а после, резкими движениями расстёгивала по одной. И шёпот её становился всё быстрее, дыхание участилось так, что превратилось в белый шум, и пальчики дрожали всё сильнее, и зрачки превратились в огромные чёрные блюдца.

И я увидел, что мир поменялся. Деревья сомкнули свои ряды и превратились в забор, глухой, непроходимый забор, без щелей, калитки, без шанса на побег. И я взглянул на небо, застыв от изумления, там солнце изменило цвет и стало чёрным, как остывший уголь. Оно исторгало чёрные лучи, которые травили этот мир, вдруг побледнели листья, вдруг спряталась трава, и с неба прогремел знакомый голос.

А она уже снимала с меня рубашку, захлёбываясь в собственных словах, всё чаще трогая себя где-то между бёдер, всё резче дёргая мою одежду, всё громче восклицая заклинанья. Я понял, что мне открылась магия этой поляны, она как всегда увидела раньше, она как всегда меня опередила, я положился на интуицию и чувства, я ощущал, как жжёт мне голень нож, и это было неспроста, ведь небо становилось тёмным, оно покрывалось трещинами и неровными заплатами, небо менялось, пытаюсь спрятать чёрное солнце, мир окутывала полутьма, и мы стояли посередине мира. Она уже впивалась ногтями в моё тело и, наспех смахивая слюни, пыталась справиться с застёжками на брюках. А я услышал, как со мной заговорили камни. И я закрыл руками уши, я закричал что было сил, глаза зажмурив, почувствовал, как что-то мне вцепилось в ягодицы, но камни говорили громче. Потом я упал на землю и глаза мои открылись. Я смотрел на чёрное солнце, которое спряталось за заплаткой, но я его видел, и я знал, что оно видит меня. В паху появились влажные ощущения, и голоса камней смешались со словами моей маленькой луны, и суть была ясна и магия должна была быть приведена в действие именно теперь. Я дотянулся до голенища сапога, мне показалось, что рука моя вытянулась как из резины, и достал мой верный, двадцатисантиметровый охотничий нож, с серрейтором и длинным долем, я всегда с ним хожу за грибами, и он улыбнулся мне своей стальной улыбкой. Я посмотрел на луну, она была удивительно бледна, из уголков её рта стекала липкая слюна, глаза превратились в огромные блюдца, она постоянно что-то твердила, цепляясь ногтями мне в рёбра, я не мог расслышать что именно, её заглушали камни. Шейка её становилась тоньше с каждым её движением, и вместе с тем, немного длиннее. Я прислонил к её шее нож, блеснувший остриём, как бы подтверждая свою готовность, и я ждал подходящего момента. Я чувствовал, как в паху назревает что-то мощное, как Везувий, я видел, как шейка луны превращается в нить, а деревья вокруг изгибаются от нетерпенья. Моя правая рука, держащая нож, начала дрожать и теряла силу, а момент всё никак не настал, и вдруг, она замолчала, она перестала что-то говорить и её ладонь, вдруг ставшая такой большой, сжала мою кисть, очень крепко сжала...

Всё произошло одновременно. Я вздрогнул и стал горячим вулканом, упала капля с неба и порвалась тучи ткань, деревья заплелись в узлы и замолчали камни, расслабилась моя рука, держащая нож и крепкая ручка моей маленькой луны сжала сильней мою кисть и порвала ниточку, что держала её голову на теле, как на привязи собаку. Потом я видел, как стекали с тела капли и смешивали краски с чистой водой, я видел, как расступались деревья и как прорастают сквозь землю новые грибы.

Теперь я всё так же гляжу на солнце, когда оно не запрятано в тучи, я всё так же смотрю на сияние звёзд и всё так же хожу собирать грибы, ковыряя палкой травы и вороша опавшие листья. И вроде, всё осталось как раньше, всё такое же, как прежде, и так же смеются собаки, и так же летают птицы, и так же растут деревья, но только... Только в окно мне теперь не смотрит луна. Моя маленькая луна.

20 декабря 2007 г.

Вода

Уже неделю льётся с неба вода, и невозможно назвать это дождём, потому как стеною сплошной проливаются капли, похожие на огромные водные пузыри. Я копаю траншею, чтобы вода уходила в низину, уже больше похожую на болото, а если продлится дождь ещё пару дней, то станет там озеро, а после, если не прекратит истекать с небес вода, станет здесь море великое. А сейчас не до этого мне, смешались капли пота и дождя, мозолей кровь и чернота земли. По небу не летают вороны, по небу не летают журавли, осталось только тучам место, да раздолье рыбам. Быть может, это всё я делаю зазря?

Мир так жесток, несправедлив и тонок, как рваная перед венчанием фата. Ходили люди и просили хлеба, потом просили их оставить на ночлег, а утром я остался без скота, привязанный к кровати и, почему-то, не убит. Тогда я понял, что пора мне возвести забор, устроить крепость от непрошенных гостей, остаться в единении с собою. И посадил я яблоню в саду. Восьмой с небес уж день, стекает дождь, а я теперь взираю, как низина превратилась в озеро, и скоро подберётся берег до моих полей, облизывать их будут волны, и рожь погибнет, и вода наступит выше. Мне снова кажется, что дождь смывает все мои ошибки, мне кажется, что небо – за меня.

Однажды, в лесу, я увидел человека, который тащил за собою добычу, он тащил за собою мёртвое животное и распевал при этом странную песню, слова которой он сочинял прямо по ходу. Я подошёл к нему и спросил, чему так радуется человек. Он мне ответил, что только что он убил «эту мерзкую, дьявольскую тварь». Увидел я, что это был Гробарь – человекоподобное животное, что-то между рептилией и высшим приматом, он отыскивал мёртвых животных, или людей и закапывал их. В общем, был очень полезный зверёк, а в пищу он был не пригоден, ну никак. Зачем ты убил это животное, спросил я тогда человека, а в ответ я услышал лишь смех и ответ, что он был порождением сатаны и всякому человеку нужно поднять против твари такой оружие, и ещё он добавил, что так ему говорил Бог. Хам плюнул на мёртвое тело Гробаря и пошёл восвояси, а я тогда думал, что возможно, Бог просто хотел облегчить жизнь людей и избавить от скорби, ведь если умирает близкий твой, то горе пожирает душу человеческую, истончается душа и рвётся, сложно глядеть на застывшее тело, тяжело копать ему яму, страшно. Быть может, за то прозвали Гробаря сатанинским отродьем, что он высасывал у трупов глаза... А из кустов раздался пьяный возглас: «Да, кстати, это был последний на свете Гробарь!» Тогда в мире осталось намного больше скверны.

Я смотрю на открытые окна небесные и думаю, что всё не зря, я всё ещё надеюсь на то, что всё будет иначе. Вчера, в девятый день потока, когда-то узкий, безобидный горный ручеёк, вдруг превратился в мощную, как исполины, реку, и унесло мой хлев, в котором был весь скот. И скот весь утонул с кошмарными криками, с воем и страха наполненными глазами. А мимо проплывают трупы гадов. А мимо проплывают трупы птиц. А мимо проплывают трупы зверей.

Когда-то у меня была дочь, когда-то она меня любила, и я любил её, и была гармония у нас и радость. Дочь моя любила играть, даже сделавшись уже достаточно взрослой, любила она играть с псами и кошками, с попугаем и мышью, с лягушками и мухами, а после полюбила она играть на гитаре. Тогда поселилось в сердце моём беспокойство, тогда оставалась она всё больше одна и что-то играла на инструменте своём, и пела непонятные мне песни. А однажды, вернувшись с полей, когда было уже темно, я услышал стоны из комнаты дочери! И настала смута в сердце моём, рвались перепонки от звуков, я ворвался в комнату и обомлел: Дщерь моя блаженствовала под натиском мужчины! Меня они, казалось, не заметили, а я сел на пол и заплакал. Как исходили слёзы из меня, так протекала внутрь боль и осознание того, что мир велик и не всегда такой, каким его мы кажем детям. Потом они ушли, и дочь я больше

уж не видел, лишь краткая записка на столе: «Сим познано большее». Тогда я поймал змия и сделал отличный ремень.

Я решил посадить масличное дерево. Просто так, потому что всё равно уже нет никакого смысла воевать со стихией. Я взял лопату, отросток растения и пошёл в гору, туда, где ещё есть какое-то подобие земли, где нет сплошной воды, где есть еще, куда вонзить лопату. Я пробираюсь через камни и упавшие деревья, переступаю через мёртвых птиц и белок, я выхожу на самое высокое из всех доступных мне мест. Я втыкаю в землю лопату и чувствую, как много здесь камней. Работа длится больше часа, я вкапываю маленький ствол дерева почти на метр, на поверхности остаётся лишь небольшая крона листьев, это для того, чтобы его не смыл поток воды, или хотя бы, чтобы смыл не сразу. Смотрю на свой невзрачный дом, отсюда он мне кажется всего лишь коробком от спичек, сегодня дождь чуть ослабел, ещё бы, ведь уже он льёт одиннадцать, без передышки, дней. Спускаюсь вниз, я поскользнулся, падаю, мир кувырком, мне хочется порвать весь мир на части! Нет, всё не зря, пусть смоем чёртов мир, пусть всё очистится водой, пусть вымрет всё, пусть уцелеют только глупые, немые рыбы!

В двенадцатый день я смотрел на потоп.

В тринадцатый день я смотрел на потоп.

В четырнадцатый день я смотрел на потоп с крыши дома своего, ибо вода подступила к окнам, и не было возможности выйти мне, чтобы сделать что-то. И узрел я, как мимо проплыл труп человеческий, как обжирала рыбы хладное тело его, сгрызая нос и уши, и воззрел я в море, и увидел, что пиршество рыбам выпало, что пожирают они трупы твари каждой, и нет пощады и уважения к мёртвым. И понял я, что не только человек виноват в том, что делается вокруг, что виновата сущность человека, сущность вложенная Богом в него. Тогда я пошёл на чердак, я вытащил парусину, которую однажды продал мне Иафет – местный торговец, он никогда не торговался и цены на товар всегда задирали до предела, но товар у него всегда был отличного качества. Отличной была и эта парусина.

В пятнадцатый день я начал работу, а закончил в двадцатый, когда вода уже не оставляла мне времени на доработку, я переделал пол второго этажа в подобие корабельного днища, я сделал девять переборок, установил на крыше мачту, спустил паруса и стал ждать. В конце двадцатого дня, мой корабль оторвался от пристани дома и пустился в плавание. Я слышал, что какой-то Ной строит ковчег... нам бы с ним не встретиться, а то нехорошо получится.

А пусть ещё дней двадцать будет с неба дождь! А я пока покину Арарат, разведу, что там, за горизонтом.

25 февраля 2010 г.

Лилии

Она не возвращалась третий день. Такого раньше не бывало, он всё смотрел в окно, что выходит на север, всё ждал, что вот-вот она появится из-за угла соседнего дома, и лёгкой походкой подойдёт к парадной, поглядит в сторону окна и увидит его взволнованный взгляд. Но она всё не шла и не шла, минуты шли, а она не шла, уж кончился сахар, кончался и чай. Он знал, он точно знал, что она всё же придёт, она обещала, она придёт, она обещала. Он как всегда, купил к её возвращению цветы – лилии, её любимые цветы. Где-то за спиной, за стенами бетонными, за тысячью дорог и слов, садилось солнце, красило в оранжевые краски мир, скрывалось за далёким горизонтом, ложилось спать.

Однажды она пришла вся мокрая и злая, хотя на улице светило солнце и в разгаре было лето, она кричала, что попала под кошмарный, проливной, шумящий дождь, она дрожала и просила чтобы он её согрел. Тогда он снял с неё сиреневые босоножки, взял на руки и аккуратно отнёс в ванную, он включил воду, уложил её на дно и поливал из душа тёплой водой, прямо по сарафану, прямо по чулкам. Она смотрела на него, в глаза ему, тревожно и с некоторою опаской, она спросила, верит ли он ей, а он ответил, что конечно, верит, хоть по небу за целый день не проплыло ни облачка, лишь зной да по дорогам суховей. Причины нет не доверять, если она сказала, что промокла под дождём, так значит, всё и было.

Он спал урывками, какими-то кошмарными глотками сна, ему всё снилось, что она сошла с ума, что кто-то заточил её в темницу, что кто-то сердце ей сменил на старые часы. Он просыпался, прибежал на кухню, пил из-под крана воду, садился у открытого окна и в темноте, под звёздным светом, смотрел на краешек дороги, на отблески луны в окнах дома напротив, он знал, что ночью, она, скорее всего не придёт, но он не мог так спать, он не хотел даже во сне увидеть, что с ней могло случиться что-то, его это ломало пуще, чем неведение. Немного успокоившись и отойдя от страшных снов, он, не включая свет, почти на ощупь чиркал спичкой, зажигал синий газ и ставил чайник. Он горький кофе пил, ведь сахар кончился уже, и думал, волновался, случилось что-то, ведь неспроста она не возвращается уже девятый день.

Ещё он вспомнил, как она пришла зимой без шубы, пьяная, с размазанной помадой по щекам, в вульгарном платье и вся воняла табаком. Она упала на диван и долго плакала, она дрожала, всхлипывала и дрожала. А он принёс шерстяное одеяло и укрыл её, сел рядом и нежно гладил по голове. Она успокоилась только через полчаса и тихонечко уснула, а он ушёл на кухню и поставил чайник, он улыбнулся, главное, что всё ж она вернулась, вернулась, как и обещала, через восемь дней. Он пил несладкий чай, когда она вошла на кухню, села рядом и, сказав: «прости», обвила шею его, нежными руками и прислонила лоб свой к его лбу. Они глядели друг другу в глаза и её наполнялись слезами. Она шептала, что это была вечеринка, что она потеряла контроль над собой, что выпила слишком много. Ещё говорила, что ей было нужно выплеснуть всю эту гадость, куда-то, в кого-то. Она утверждала, что ей захотелось почувствовать себя грязной, пропащей и падшей. А он смотрел в её глаза и верил, он верил, что она такая – противоречие самой себе.

Он трижды собирался выходить из дома, чтоб её искать, но лишь однажды добежал до магазина, чтоб купить конфет, чай и немного сахара, ещё купил котлет и макарон, пакетик молока, ведь если вдруг она вернётся, она захочет молока. Купил буханку хлеба и ватрушку, она так любит это тесто с творогом. Вернувшись, он скорей уселся у окна, успел лишь разложить продукты по местам, да на огонь поставить чайник. На небе собирались тучи, наверное, пойдёт сегодня дождь, возможно, с молнией, грозой, на улице так душно. Он пристально смотрел на видимую часть дороги, но она всё не появлялась, лишь проходили люди, незнакомые, соседи, два мальчика с рогатками, какие-то бабульки с сумками, мужчина толстый, словно снеговик, с колясками мамыши. Но только всё не шла она, уже пятнадцать дней.

Когда-то он её встречал на вокзале, вокруг суетились люди, тысячи, тысячи людей, все куда-то спешили, торопились, кричали и толкались, задевали сумками и телегами, а он стоял у нужного перрона с букетом лилий – её любимых цветов, и ждал её поезд, она должна была приехать ровно в семнадцать ноль-ноль. Поезд подошёл раньше, наверное, намного, потому что уже все пассажиры вышли и разбрелись кто куда, кто в метро, кто на автобус, кто пешком, некоторые садились в такси. Тогда он стал волноваться, он думал, что мог ошибиться платформой, быть может, поезд не тот... Но ровно в пять вечера из вагона с номером двадцать один, вышла она, изящно, как лебедь выплыла из вагона, открыла какой-то нелепый зонтик и двинулась к нему навстречу. Немного холодно взяла букет и поцеловала в щёку. Они добрались до дома в тишине, никто не проронил ни слова, и лишь когда закрылась дверь за ними, она произнесла: «Спасибо», он спрашивал за что, она отвечала, что за то, что он не задаёт вопросов. Он только улыбнулся, а она сказала, что всё неправда и что бы ни случилось, она всё равно вернётся к нему. Он верил, он знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.